

как Иов на пепелище, ропщет и «препирается с Господом», он не хочет «бесполезных утешений» нашего разума и требует ответа от Неба. «Разве гром, — говорит он, — не ответ, не объяснение, надежное, верное, первичное, ответ, данный самим Творцом? Пусть этот ответ раздавливает человека, он величественнее, чем утешения о справедливости Провидения, которые выдумывает человеческая мудрость». Но мы перестали слышать и видеть знамения Неба, мы разучились разбирать таинственные письма, даже когда они начертаны человеческой рукой, нам, ослепленным светом разумного познания и естественных объяснений, нужно какое-нибудь сверхъестественное *memento*, чтобы проснуться — и то на мгновение — от того сверхъестественного же наваждения и оцепенения, о котором говорил еще Паскаль. Не потому ли этюд Шестова о Паскале («Гефсиманская ночь»), о мыслителе, оставшемся вдали от больших дорог философии, был для французской критики «гениальным» откровением, пришедшим из чужой страны? Философия Шестова не хочет ни поучать, ни проповедовать, — она хочет только вырвать нас из общего аристотелевского мира и вернуть нам человека, созданного по образу и подобию божьему, превращенного в мертвый объект наукообразными построениями философии, вернуть мир живой действительности, пусть действительности, полной трагизма, но от ужасов жизни и смерти нельзя укрыться в раковину автономного добра или другой «возвышенной» в своем безразличии и безучастности идеи, как и не всем, и не всегда дано улететь на крыльях экстаза в страну творческого вдохновения и прозрения. Как Иов на пепелище, мы должны отвергнуть «бесполезных утешителей»; либо отречься от Господа и окончательно умереть, либо предать свой дух во власть вечной Тайны и внимать в священном трепете голосу из неопалимой купины.

## Г. П. ФЕДОТОВ

### Лев Шестов. На весах Иова

Лев Шестов знаком и дорог нам в своем чрезвычайном привлекательном, особенно в наши дни, образе — свободного искателя истины. Отвергнув сознательно академическую или научную философию (главный враг его жизни), он избрал вольный и с виду веселый путь «странствователя по душам», или (в средневековом смысле) «жонглера» мудрости. Но за легким и пенистым его стилем — как застольные речи древних — все явственнее слышатся ноты глубокой серьезности. Мы даже склонны опасаться, как бы эта серьезность не уступила место

фанатизму. Пока что Лев Шестов всего более из наших современников напоминает свободного философа Греции — он, кстати, так напоен цитатами и реминисценциями древних. Таким хотелось бы видеть любимого его сердцу Протагора — недаром голова его просится на греческую герму<sup>1</sup>.

Последняя книга Л. Шестова посвящена той же теме, что и все остальные его книги. Он человек одной мысли — признак подлинности, — и о чем бы ни говорил, всегда говорит об одном и том же. Только большой литературный талант помогает ему находить из года в год, из книги в книгу все новые выражения для своей единственной мысли.

Вот уже тридцать лет Л. Шестов ведет героическую борьбу с разумом и добром (с идеализмом), в которых видит самых страшных врагов человеческой свободы. За это время много воды утекло. Идеалист стал весьма редкой породой, особенно в России, — вроде зубров. Мир становится верующим — материалистическим в большинстве своем, церковным в меньшинстве. Но идеалисты по-прежнему занимают философские кафедры в Германии, а немецкие книги (Гуссерль) да старые привычки заставляют Шестова все быть в эту сторону, лицом к противнику его юности. Время изменило и его самого. Ранее позволительно было видеть в нем скептика, расшатывающего устои идеального мира ради чистой радости разрушения. Теперь подлинная тревога и даже мука вырываются из-под остроумного его пера. Он пишет *sub specie mortis*, и не боится открыть перед читателем последнюю, найденную им правду: «В Св. Писании есть Истина» (с. 24).

Впрочем, Л. Шестов никогда не исходит из Св. Писания и пользуется мифами философов. Догматизм не сроден природе его мышления. Он остается критиком и разрушителем до конца.

Для человека, который мучится в оковах логики и больше всего ненавидит систему, единственный способ хоть сколько-нибудь выразить себя — афоризмы, отрывочные заметки, вроде «Мыслей» Паскаля или розановских записок на подошве. Л. Шестов несравненный мастер философской миниатюры (как ученик Ницше), и в его новой книге афоризм, «Дерзновение и покорность», представляет самую ценную и интересную часть. Ее никак нельзя упрекнуть в однообразии. Разбивший на мельчайшие брызги каскад дарит читателя множеством остроумных наблюдений, психологических находок, побочных вариантов основной темы. И конечно, здесь, среди блестящих парадоксов, найдется для всякого немало крупниц истины.

Но каждый анархист нуждается в авторитетах; Лев Шестов давно уже в поисках союзников для штурма мира идей предпринимал философские набеги на Шекспира, Ницше, Толстого и Достоевского. Исторические портреты или параллели — вторая найденная им для себя форма. В этой книге она представлена главами о Достоевском и Толстом, с одной стороны, о Спинозе, Паскале и Плотине — с дру-

гой. Этой формой автор владеет менее удачно. Главный недостаток его в том, что он не может говорить ни об одном из своих любимцев, не сказав сразу обо всех — и притом всего, что ему в них нравится. Глава о Спинозе есть вместе с тем глава о Плотине и Паскале и т. д. Можно было бы без затруднения переменить заглавия: перед читателем пройдут все те же вереницы цитат, лишь в несколько ином порядке. Читатель не сетует на повторения, они помогают ему запомнить эти золотые цитаты, но дорожающий своим временем может всегда обойтись одной главой.

Трудно сказать, насколько эти шестовские портреты соответствуют натуре. Главное искусство автора — в чтении между строк. Он ловит намеки, прорвавшиеся признания и по ним восстанавливает потаенный духовный мир (Спинозы, Плотина). Всего бесспорнее Паскаль. Но, разумеется, никто не в силах удовлетворить вполне идеалу шестовской беспочвенности. У каждого найдутся (еще бы!) компромиссы с разумом или добром. За эти слабости Шестов горько обличает своих любимцев. Герой «Записок из подполья» всего точнее выражает идеал шестовского свободного человека, но зато на долю Достоевского больших романов, а особенно «Дневника писателя», приходится всего более упреков в морализме.

Не важно, впрочем, правильно ли Шестов толкует Плотина. Интересен он сам, который заставляет и Плотина, и Достоевского выражать свою собственную мысль. Эта мысль звучит повсюду, во всех неизбежных противоречиях ее, с редким бесстрашием.

Шестов видит в покорности перед разумом величайшее несчастье человека. Речь идет не только о том, чтобы указать границы науки, отделить от науки философию, или о других полезных и давно признанных необходимостях. Нужно «отказаться от научного знания, чтобы постичь Истину. Истина и научное знание непримиримы» (с. 79). Философию с наукой нужно не мирить, а ссорить (с. 313), «освободиться от научного толкования» (с. 119), в результате изначального грехопадения, которое, впрочем, в том и состояло, что человек вкусил плодов познания. Это основной миф религии Шестова, и это почти все, что он берет из Св. Писания. Он отказывается от Евангелия Иоанна за то, что «в начале было Слово» (с. 247), и видит в библейском рассказе о наречении имен животным (до грехопадения!) первое зло, которым «человек отрезал себя от всех истоков жизни» (с. 201). Не более импонирует Шестову и совесть. «Все, что запрещено разумом и совестью, нам больше всего нужно» (с. 296)

Всего дороже Шестову эта свобода от добра в Боге, который представляется Шестову существом, абсолютно «капризным», «как все живое», «страстным» (с. 185), «непостоянным и изменчивым» (с. 16). «Бог — воплощенный каприз» (с. 93). «Бог хочет и может обманывать людей» (это вслед за Паскалем; с. 238). «Пред лицом Бога

человек не защищен ничем, даже справедливостью» (с. 285). «И потому, конечно, мы не знаем, что следует в себе беречь для вечности, что искоренить» (с. 210). На страшном суде, который является для Шестова вторым основным мифом, никто не оправдывается. «И вообще нам, по-видимому, не дано знать, чем можно смягчить его (судью) — есть все основания думать, что он беспощаден и неумолим в своих приговорах» (с. 128).

Было бы несправедливо требовать от Шестова последовательности — он сам запрещает ее себе. «Нужно ли чему-нибудь *окончательно* верить?» (С. 146.) «И даже бытие Бога еще, быть может, не решено» (с. 145). Не в порядке возражения, а в порядке изображения извилистой мысли Шестова укажем ее основную двойственность. Прежде это была двойственность скептической и религиозной установки (не вполне еще преодоленная). Теперь это двойственность в ощущении метафизического мира: колебание между языческим раем и более жестоким чистилищем. Порою Шестову кажется, что «Бог ничего не требует, Бог только одаряет» (с. 335). Шестову грезится «мир мгновенных, чудесных и таинственных превращений» (с. 160). «Может быть, лучшее, самое нужное, не в глубине, а на поверхности, и не трудно, а легко». «Майя получает вновь все права» (с. 218). Тогда нужно «разрешить страстям открыто делать свое дело» (с. 199), «восславить хаос» (с. 215). Это ницшеанский идеал «танца», «веселой науки». В настоящем мире Шестова спасает от роковых необходимостей красота, лишённая всякой идеи, абсолютно индивидуальная, даже в природе: та «вечерняя и утренняя звезда», которая, вопреки Плотину, выше справедливости.

И после этого — вериги Паскаля, оправдание аскетизма, беспощадный Бог, созерцание смерти у Толстого — как путь к освобождению. На этом пути у Шестова четкая генеалогия вождей: апостол Павел, Тертуллиан, Августин, Лютер, Паскаль, — знакомая иудео-реформаторская линия христианства. Эллин с иудеем борются в душе Шестова, и видишь, как слабеют силы «смеющегося философа», хотя улыбка его освещает лучшие страницы книги.

Исход этой борьбы, кажется, зависит от того, как разрешится один вопрос, который читатель вправе поставить Шестову: за чью, собственно, свободу он ратует — свободу человека или свободу Бога? Если человеческое и божественное «Я» представляются как абсолютный каприз, то нет никаких оснований для Завета между ними. Одно капризное «Я» всего вероятнее уничтожит другое. При чудовищном неравенстве сил, может ли быть сомнение в исходе поединка? Бог Шестова пока что весьма мало напоминает Бога Израилева: скорее всего, Вицлипуцли мексиканского пантеона. Это именно Шестов, а не только Спиноза, бессознательно утверждает как основной свой догмат: «...разум и воля Бога имеют столько же общего с разумом и волей человека, сколько

созвездие Пса с псом, лающим животным». И основное недоумение, вызываемое книгой Шестова, связано с именем Иова. Как может Шестов ставить свою борьбу под знак Иова, который ведет великий спор с Богом во имя справедливости?

Отрекаясь от справедливости, Шестов неминуемо должен предать свободу человека. Что он и делает уже, отрицая вслед за Лютером свободу человеческой воли: «Свободная воля у Бога, и только у Бога». Нельзя «вручить смертному и ограниченному существу такое бесценное сокровище» (с. 192). Что дело не может ограничиться метафизическим отрицанием свободы, показывает следующий гимн «анафеме». «Враг (разум) ловок, искусен, жесток и бдителен. Поддашься ему — всему конец... Нужны не доводы и любовная готовность к примирению, а удары и крайняя степень вражды и ненависти. Так выковалось страшное оружие средневековья: *Anathema sit*. Пятнадцать веков защищали им люди то, что им было дороже всего. Теперь оно обветшало, им уже нельзя больше пользоваться. Чем заменить его? Именно дело Достоевского и Августина погибло в тот день, когда *Anathema sit* выпало из их рук?»

Когда читаешь эти строки, то видишь, что только страшный индивидуализм Шестова, его полная незаинтересованность в спасении людей мешает ему защищать костры. Чутьочку побольше любви, и Шестов превратится в инквизитора.

Правда, для этого нужна еще одна малость: обладать положительной религией. Шестов еще отталкивается от всех церквей. Недаром, однако, он заканчивает свои «Дерзновения» таким очень верным наблюдением: «Человек в своей жизни переходит много раз от дерзновения к покорности. Но, под конец, обычно покоряется». Великое счастье, что добровольная изоляция Шестова лишает его слова вполне сознательной действительности. С того момента, когда он сможет произнести *Credo*, мы предвидим, что он будет сразу же причислен к святым отцам в самом влиятельном лагере русской религиозной мысли. Быть предтечей инквизиторов — в этом, по-видимому, историческое предназначение Шестова — рыцаря свободы. Такова, впрочем, судьба, всякого анархизма — утвердить тиранию. Сознание трагической иронии своей судьбы, быть может, и дало Шестову разгадку иронической судьбы Спинозы: еврея, который возлюбил Бога всем сердцем и помышлением своим, и был послан на землю для того, чтобы убить Бога.